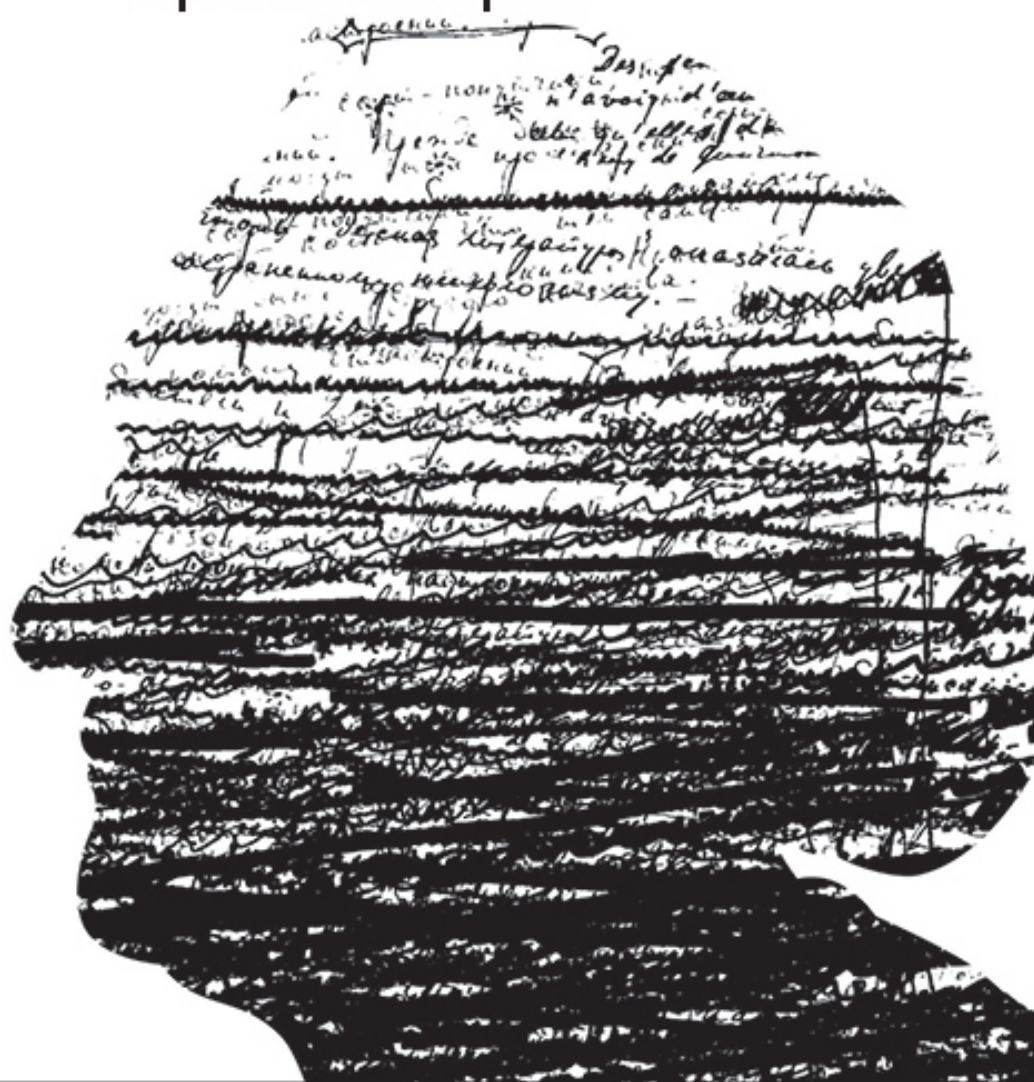


Ирина Паперно



СОВЕТСКАЯ ЭПОХА

в мемуарах,
дневниках,
снах

Научная библиотека

Ирина Паперно

**Советская эпоха в мемуарах,
дневниках, снах. Опыт чтения**

«НЛО»

2021

Паперно И.

Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения /
И. Паперно — «НЛО», 2021 — (Научная библиотека)

ISBN 978-5-44-481488-8

За последние десятилетия, начиная с перестройки, в России были опубликованы сотни воспоминаний, дневников, записок и других автобиографических документов, свидетельствующих о советской эпохе и подводящих ее итог. При всем разнообразии они повествуют о жизнях, прожитых под влиянием исторических катастроф, таких как сталинский террор и война. После падения советской власти публикация этих сочинений формировала сообщество людей, получивших доступ к интимной жизни и мыслям друг друга. В своей книге Ирина Паперно исследует этот гигантский массив документов, выявляя в них общие темы, тенденции и формы. Среди множества публикаций автор отдельно рассматривает два, выбрав их за эмоциональную силу, масштабность мышления и литературный дар: знаменитые «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской и тетради Евгении Григорьевны Киселевой, полуграмотной пожилой крестьянки, решившей предоставить материал для сценария фильма о своей жизни. Обнаруживая удивительные параллели и контрасты между этими произведениями, автор показывает, как советская история и советское государство формировали судьбы столь разных во многих отношениях людей. Одним из важных сюжетов книги стали толкования снов, в которых тоже не обошлось без вторжения государства и истории – в основном это были кошмары. Подобные сны видели и крестьяне, и партийные лидеры, и известные писатели и, наконец, сам Иосиф Сталин. Ирина Паперно – литературовед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

ISBN 978-5-44-481488-8

© Паперно И., 2021

© НЛО, 2021

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ЧАСТЬ 1. МЕМУАРЫ И ДНЕВНИКИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В КОНЦЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ	9
Авторы, тексты, читатели	11
Экскурс: мемуары и историческое сознание	17
Мемуаристы вписывают себя в историю	22
Мемуаристы предаются гласности интимные подробности своей жизни	24
Обобщения: интимность и история	29
Мемуары создают сообщество	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Ирина Паперно

Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах Опыт чтения

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга написана между 1999 и 2009 годом и впервые опубликована по-английски: *Stories of the Soviet Experience: Diaries, Memoirs, Dreams* (Cornell University Press, 2009). Речь в ней идет о мемуарах, дневниках и других автобиографических текстах о жизни в XX веке, которые появились в печати целым потоком с конца 1980-х годов в контексте перестройки и гласности – в конце советской эпохи. Здесь были и дневники из всего периода советской истории, опубликованные по архивным рукописям, и воспоминания, написанные во время оттепели или в 1970-е годы, и созданное уже в годы крушения советской власти: воспоминания (мемуары), дневники, памятные очерки, тетради, записки, записи, заметки и даже две телефонные книжки. Вспомним журнальные рубрики и книжные серии под такими знаменательными названиями, как «Мой XX век», «Частные воспоминания о двадцатом веке», «XX век от первого лица». В текстах, опубликованных в этих рамках, речь идет о катастрофическом опыте советского прошлого (воспоминания о счастливой судьбе чрезвычайно редки, даже для тех, кто не имел претензий к советской власти). В сознании и авторов, и издателей, и читателей эти публикации были частными свидетельствами о советской эпохе, которая подошла к концу, и в этом качестве приобрели статус культурного явления и политическую значимость. К началу XXI века поток начал иссякать, хотя отдельные дневники и мемуары и продолжали публиковаться. Сейчас, на расстоянии двух десятилетий, появление в печати потока мемуарно-автобиографических произведений и личных документов о советском опыте, хотя они и были написаны в разное время, кажется характерным фактом 1990-х годов. «Девяностые годы» уже стали предметом острого изучения, и поток таких публикаций сейчас видится как составляющая этого периода.

Настоящая книга предлагает опыт чтения корпуса мемуаров и дневников о советской эпохе, опубликованных в 1990-е годы¹. В соответствии с задачей, основное внимание уделяется именно текстам, их чтению и пониманию.

В течение 1980–2000-х годов в научном и публицистическом обиходе сложился набор категорий для исследования реакций человека и общества на исторические катастрофы прошлого, под общей рубрикой «память»: «коллективная память» (*la mémoire collective*), «культурная память» (*das kulturelles Gedächtnis*), «мемориальная культура» (*der Erinnerungskultur*), «травма» (*trauma*)², «память и траур» (*memory and mourning*), «освоение прошлого» (*Vergangenheitsbewältigung*), etc. и, наконец, «постпамять» (*postmemory*). На их основе сформировались целые научные направления: *memory studies*, *trauma studies*. Разработанный в западной научной литературе, в основном на материале Холокоста, этот дискурс

¹ Я активно использовала около ста текстов, принадлежащих более чем восьмидесяти авторам; общий объем прочитанных при работе над этой книгой текстов составляет около двухсот.

² Оговорюсь, что речь идет не о клиническом термине «травма», с его сложной генеалогией (без него никак нельзя обойтись), а о специфической «теории травмы» (*trauma theory*), то есть о представлениях о травме в ее связи с кризисом репрезентации (*crisis of representation*), сложившихся в гуманитарном знании постмодернистского направления (в трудах Кэти Карут, Шoshаны Фелман, Доминика Ла Капра и других). Эти представления подверглись критике (оставшейся незамеченной многими) в книге историка науки Рут Лейс: *Ley S. Trauma: A Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press, 2000. P. 266–297. Критический подход и контекстуализации теории травмы можно найти, в частности, в: *Radstone S. Trauma Theory: Contexts, Politics, Ethics // Paragraph*. 2007. Vol. 30: 1. P. 9–29.

был задействован и в недавних исследованиях памяти о советском прошлом (во многих случаях – вполне успешно). При всей их полезности, от употребления установившихся понятий я старалась по мере возможности воздержаться (отнюдь не потому, что считаю их неприменимыми к советскому материалу)³. Как любой готовый набор инструментов и идиом, они несут в себе и интерпретативные презумпции (такие, как пафос освоения коллективного прошлого или идея о невозможности репрезентации травматического опыта), и сигналы принадлежности к определенному направлению или подходу, и политические коннотации. В мои цели не входили ни участие в теоретизации памяти или травмы, ни критика мемориальной культуры, ни исследование «советской субъективности» (о чем тоже немало писали в последнее время). Методологическая установка этой книги, обращенной к более широкой читательской аудитории, чем круг коллег (историков культуры), – это внимание к тексту и к смыслу, осознанному и неосознанному, а также к герменевтическим принципам понимания и толкования.

В части 1 предлагаются обзор текстов и кое-какие обобщения обо всем корпусе (о жанровых и нарративных стратегиях, способах осмысления и модусах переживания опыта, культурных функциях, которые эти тексты выполняют для авторов и для читателей). Часть 2 целиком посвящена медленному чтению «Записок об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской, часть 3 – чтению записок Е. Г. Киселевой, опубликованных как пример «наивного письма». В части 4 предлагается толкование снов, которые в значительном количестве включены авторами в их дневники, записные книжки и мемуары.

Оговорюсь, что, хотя эта книга в первую очередь об автобиографических документах советского опыта, неизбежно речь пойдет и о самом опыте, о котором стремятся рассказать авторы, – о жизни человека в советском обществе. При всем скептицизме по отношению к человеку как субъекту знания, свойственном гуманитарным дисциплинам эпохи постмодернизма, дневники и мемуары можно использовать и в соответствии с интенциями их авторов. В этом меня вдохновляют слова Ханны Арендт из эссе о понимании тоталитаризма:

Источники говорят, и то, что они показывают, – это самопонимание и самоинтерпретация людей, которые действуют и верят, что они знают, что делают. Если же мы будем отрицать их способность к этому <...> мы лишим их дара речи, даже когда речь осмысленна⁴.

Именно о самопонимании и самоинтерпретации жизненного опыта советского человека, каким он предстал в дневниках и мемуарах, опубликованных в 1990-е годы, и идет речь в этой книге.

Очевидно, что в последние десятилетия, в XXI веке, отношение к советскому прошлому в российском обществе изменилось; изменился характер автобиографических и семейных историй и их рецепция. Об этом постараюсь сказать несколько слов в Постскрипуме.

Перевод на русский язык выполнен автором, причем в текст внесены исправления и улучшения.

³ Критику моего подхода (на основании ранней статьи) можно найти в: *Эткинд А.* «Одно время я колебался, не антихрист ли я»: субъективность, автобиография и горячая память революции // *Новое литературное обозрение.* 2005. № 3. Возражу Эткинду, что я вовсе не считаю эти понятия неприменимыми к советскому материалу. Меня смущает главным образом то, что исследования о «памяти» приобрели характер массового промышленного производства и понятийные категории стали употребляться как клише, потерявшие свой первоначальный смысл и герменевтический потенциал.

⁴ *Arendt H.* On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding. // *Essays in Understanding, 1930–1954. Formation, Exile, and Totalitarianism.* New York: Schocken Books, 1994. P. 338 (перевод мой. – *И. П.*). Йохен Хелльбек привлек мое внимание к этому замечательному высказыванию Арендт, которое он использовал в своем исследовании дневников сталинской эпохи и советской субъективности: *Hellbeck J.* *Revolution on My Mind: Writing a Diary Under Stalin.* Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006. P. 11.

Публикуя книгу, написанную более десяти лет назад за рубежом и посвященную актуальному материалу российской культуры, автору стоит подумать о том, чем эта книга может показаться сегодняшнему читателю в России несвоевременной и неуместной. Об этом надеюсь услышать от читателей.

Беркли, Калифорния, 2020

ЧАСТЬ 1. МЕМУАРЫ И ДНЕВНИКИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В КОНЦЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

В конце 1980-х годов в российской печати появился целый поток мемуарных и автобиографических текстов о XX веке, или советской эпохе, написанных в разные годы. Первоначальный импульс возник с политикой перестройки и гласности, включавшей программу разоблачения преступлений советского прошлого, прежде всего – репрессий сталинской эпохи. Уже с середины 1990-х годов огласка исторического прошлого стала терять поддержку государства и общества, но истории отдельных людей оставались заметным явлением в российской культуре вплоть до конца века. К началу 2000-х годов поток таких человеческих документов стал иссякать.

Началось с сенсационных публикаций в годы перестройки личных свидетельств о сталинском терроре, написанных в 1950-е или в 1970-е годы и ходивших в самиздате и тамиздате, таких как (в 1988 году) воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и Евгении Семеновны Гинзбург. Трудно сказать, что произвело тогда большее впечатление на читателя – сами эти тексты или тот факт, что они были опубликованы. Стало ясно, что теперь можно и даже нужно говорить о пережитом в советские годы.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов толстые журналы открыли новые рубрики: «Дневники и воспоминания» («Новый мир»), «Воспоминания, документы» («Октябрь»), «Мемуары. Архивы. Свидетельства» («Знамя»), «Мемуары XX века» («Звезда»), «Частные воспоминания о двадцатом веке» («Дружба народов»). Новый исторический журнал «Одиссей» включил рубрику, в которой историки вспоминали и рассуждали о себе, «Историк и время». Издательства создали серии с заглавиями: «Мой XX век» (М.: Вагриус); «XX век от первого лица» (М.: РОССПЭН); «XX век глазами очевидцев» (М.: Олимп/АСТ); «Семейный архив XX века» (М.: Интеграф Сервис); «Из рукописного наследия» (М.: Книжная палата); «Дневники и воспоминания петербургских ученых» (СПб.: Европейский дом); «Документы жизни. Интерпретации» (М.: Гнозис); «Народный архив» (М.: Россия молодая/Аэро – XX век); «Народные мемуары» (Омск: Омский государственный университет) и другие. В некоторых из этих серий появился целый ряд публикаций, в других только одна. Многие тексты вышли в свет вне установленных рубрик и серий. И те и другие претендовали на то, что они представляют собой культурное течение.

Публиковавшиеся в этих рамках тексты были созданы в разное время: здесь и дневники различных периодов, и воспоминания, записанные во время оттепели или в 1970-е годы, и дневники, мемуары, записки и проч., написанные уже на закате советского периода.

Большинство опубликованного проникнуто пафосом раскрытия «страшного прошлого», но раздавались и голоса тех, кто к советской власти претензий не имел и тем не менее стремился свидетельствовать о своей трудной жизни. (Ностальгия по советскому, ставшая к концу 1990-х – началу 2000-х годов значительным явлением в общественном сознании и массовой культуре, в этом мемуарном потоке была незаметной.)

Для тех, у кого не было доступа к печати, существовали другие возможности: архивы. Для жертв репрессий – местные филиалы «Мемориала» (основанного в 1988 году). Другая независимая общественная организация, созданная в 1988 году, «Народный архив», принимала мемуары, дневники и другие документы частной жизни от всех (включая и тех, кто жерт-

вами себя не считал), и объем собранного был весьма значителен⁵. (Позже функцию хранилища и обнародования частных документов взял на себя интернет.)

Многие авторы или публикаторы заявляют о своих интенциях: свидетельствовать о своем времени. Проникнутые сознанием исторической значимости своего опыта и ощущением конца, мемуаристы стремятся и отметить, что они пережили, и помянуть погибших, и обвинить, и покаяться, и донести на других. Налицо также и социальный заказ на жизнь знаменитых людей, и непреодолимое желание профессионального писателя написать о себе самом, и побуждение ученого превратить собственную жизнь в объект исследования, и жажда рядового человека оставить свой след в печати, все это – в новых условиях, когда люди получили доступ к публичной сфере.

Нет сомнения, что появившиеся тексты различны между собой; различаются и функции, которые они выполняли для авторов и для читателей.

И тем не менее я думаю, что можно говорить об общей тенденции: опубликованные в конце советской эпохи, совпавшей с концом XX века, такие мемуарно-автобиографические издания стремятся сделать индивидуальную жизнь частью истории (даже недавнее прошлое, вчерашний день историзируются). Большинство (даже лояльные советские граждане) пишут о катастрофическом опыте – о революции, сталинском терроре, войне, причем те, кто не заметил террора (а есть и такие), помещают катастрофу в контекст Великой Отечественной войны. Главное, что объединяет эти тексты, – это стремление сделать описания частной и, более того, интимной жизни публичными как исторические свидетельства катастрофического советского опыта. В этом смысле я считаю эти тексты феноменом «исторического сознания» (об этом еще пойдет речь).

В этой книге я рассматриваю разнородные тексты, независимо от того, когда они написаны, как единый корпус, принадлежащий к историческому моменту – «долгим девяностым годам» (от конца 1980-х до начала 2000-х). Повторю, что к началу 2000-х годов поток таких документов стал иссякать, хотя отдельные тексты продолжали появляться и позже – не только без претензий на политическую значимость, но уже и вне заметного культурного течения⁶. Именно в 1990-е годы дневники и мемуары советского опыта были собраны, отредактированы, обрамлены (предисловиями и примечаниями) и помещены в публичном пространстве. Этот исторический момент – конец советской эпохи.

⁵ Путеводитель по фондам, изданный в десятую годовщину «Народного архива», указывает, что в хранилище имеется более чем 100000 документов (Центр документации «Народный архив»: Справочник по фондам / Сост. Г. С. Акимов и др. М., 1998). Имеется и библиографический указатель опубликованных архивных документов – Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России XX века из государственных и семейных архивов (по отечественной журнальной периодике и альманахам 1985–1996 гг.) / Ред. И. А. Кондакова. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 1999.

⁶ Некоторые из публикаций более позднего времени вызвали значительный отклик в критике, среди них: *Шапорина Л. В.* Дневник. Т. 1–2. М.: Новое литературное обозрение, 2012; *Островская С. К.* Дневник. М.: Новое литературное обозрение, 2013; 2-е изд., 2018. Отметим также вызвавшие большой резонанс устные воспоминания Лилианны Лунгиной, представленные в документальном пятнадцатисерийном фильме Олега Дормана «Подстрочник» (2009) и в основанной на фильме книге: *Дорман О. В.* Подстрочник: Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М.: Corpus, 2010. Существует и текстовый корпус личных дневников «Прожито», созданный в 2014 году при Европейском Университете в Санкт-Петербурге: <https://prozhito.org/about>. Эти замечательные тексты и проекты остались вне внимания в моей книге, рассматривающей тексты, которые принадлежат к девяностым годам (к тому же моя книга впервые опубликована в 2009 году).

Авторы, тексты, читатели

Сделаем несколько предварительных замечаний об авторах и текстах, приведем примеры (многие из них будут в дальнейшем рассмотрены подробнее).

Кто именно выступал тогда с мемуарами (воспоминаниями), дневниками, записками? Как будто бы все: люди разных поколений, профессиональные писатели и полуграмотные крестьяне, известные деятели (писатели, актеры, политики) и «обыкновенные», или «рядовые», люди⁷.

Жертвы и критики советской власти преобладали в это время в печати над лояльными советскими гражданами, и узники сталинского ГУЛАГа занимали особое место, однако и власть имущие, от лагерных охранников до соратников Сталина и их детей, также были представлены.

Интеллигенты составляли большинство. Многие пишут с сознательной позиции «русской интеллигенции». Но существует и явная тенденция предоставить слово «народу», парадоксальное желание услышать «голос человека, за которого всегда писал интеллигент»⁸.

Такова, например, судьба записок деревенской женщины Евгении Григорьевны Киселевой (1916–1990). Ей хотелось увидеть историю своей трудной жизни в кино, которое она собиралась назвать собственным именем: «Кишмарева – Киселева – Тюричева» (девичья фамилия и фамилии двух мужей). Будучи едва грамотной, она написала свою жизнь как могла и послала тетрадку на киностудию. После долгих приключений в 1996 году ее записки были опубликованы в виде книги, с помощью лингвиста и социолога, которые не только расшифровали и прокомментировали малопонятный текст едва грамотной женщины (оказавшийся к тому времени в «Народном архиве»), но и снабдили его своей интерпретацией (на обложке стоят имена публикаторов)⁹.

Литераторы всегда имели склонность публиковать автобиографии, однако в конце 1980-х годов количество и интенсивность таких откровений превзошли установившиеся масштабы. Многие тексты или варианты текстов публиковались снова и снова. В основном в печати появлялись автоописания тех писателей, которые спешили предать гласности свою нелюбовь к советской власти.

Именно писатели проявили отчетливую тенденцию раскрыть подробности своей личной жизни – под знаком исторической значимости интимности.

Возьмем, например, поэта Давида Самойловича Самойлова (1920–1990): его личная жизнь и потаенные мысли были обнаружены в целой серии дневников, записей и мемуаров, изданных и переизданных с активным участием вдовы автора, начиная с года его смерти.

⁷ Приведу примеры публикаций, эксплицитно отмеченных самими авторами как жизнеописания «рядового» или «обыкновенного» человека: *Дуринов Л. А. Жизнь врача: Записки обыкновенного человека*. М.: Вагриус, 2001; *Маньков А. Г. Из дневника рядового человека (1933–34 гг.)* // Звезда. 1994. № 5. С. 134–183; 1995. № 11. С. 167–199. Последний пример показывает относительность категории «рядового» человека: опубликованный известным советским историком А. Г. Маньковым, это дневник молодого Манькова – рабочего и студента; во втором издании, в серии «Дневники и воспоминания петербургских ученых», определение «рядовой человек» исчезло из заглавия: *Маньков А. Г. Дневники 30-х годов*. СПб.: Европейский дом, 2001. (Серия «Дневники и воспоминания петербургских ученых»).

⁸ Приведу примеры публикаций (сделанных не самими авторами, а исследователями-профессионалами) дневников и воспоминаний крестьян и рабочих, отмеченные как таковые: *Дневные записи усть-куломского крестьянина И. С. Рассыхаева (1902–1953)*. М., 1997; *Дневник тотемского крестьянина А. А. Замаева: 1903–1922 годы*. М.: Ин-т этнологии им. Миклухо-Маклая РАН, 1995; *Воспоминания работницы М. Н. Колтаковой: «Как я прожила жизнь»*: Публикация и исследование текста / Подг. текста, предисл. и комм. Б. И. Осипова. Омск: Омский гос. ун-т, 1997 (Серия «Народные мемуары», 2). Фраза «голос человека, за которого всегда писал интеллигент» заимствована из: *Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора*. М.: Ин-т философии РАН, 1996. С. 65 (в этом исследовании используются документы из «Народного архива»).

⁹ *Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения*. М.: Гнозис, Русское феноменологическое общ-во, 1996.

Здесь и ежедневная хроника мыслей – «Поденные записи» (1990–1992; 2002), и хроника бытовых событий – «Общий дневник» (1992), и мемуарные эссе – «Памятные записки» (1995), и записки о семейной жизни – «Перебирая наши даты» (2000); и этот корпус разнообразных текстов документирует всю жизнь Самойлова, почти совпавшую с советской эпохой¹⁰.

Драматург Леонид Генрихович Зорин (1924–2020) опубликовал «мемуарный роман» «Авансцена» (1997), в котором на сцене выступает он сам в период с 1934 по 1994 год, а сюжетной нитью является конфронтация автора с советской властью – драматическая борьба за постановку своих пьес. Издал он и том разрозненных заметок «Зеленые тетради» (1999); в предисловии указывается, что автор вел дневник, пока не опубликованный¹¹.

Писатель Юрий Маркович Нагибин (1920–1994) предоставил свой шокирующе откровенный дневник (за 1942–1986 годы) для публикации еще при жизни, но умер прежде, чем рукопись вышла в свет. Стоя у тела писателя во время похорон, его издатель, подготовивший дневники к печати, чувствовал, что истинную жизнь Нагибина знал он один. (При этом он подумал, что «дневник при жизни нужно хранить в столе»¹².) Нагибин документировал в дневнике свои конфликты с властью – борьбу против цензурных искажений своих книг и фильмов и за возможность заграничных поездок. Он представил и сложную картину собственной интимной жизни – запутанную историю своего происхождения, шесть браков и далеко не конвенциональный домашний быт. Годом позже, продав тридцать пять тысяч экземпляров, тот же редактор выпустил второе издание дневника Нагибина, дополненное научным аппаратом (комментариями, указателем имен и фотографиями). За этим последовали и другие переиздания¹³.

Знаменитые «Записки об Анне Ахматовой» литературоведа и профессионального редактора Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996) – это дневник, который она вела за другого. В течение многих лет Чуковская в мельчайших подробностях документировала каждодневную интимную жизнь Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966) в годы террора, войны и оттепели – жизнь, деформированную (как считали обе) под давлением советской власти. Между 1989 и 1997 годами этот документ появился в нескольких изданиях, включая научное, с обширным справочным аппаратом (сносками, комментариями, указателями, фотографиями, подготовленными автором, ее дочерью и их помощниками). Этот научный аппарат связывает записи, сделанные в 1938–1941 и 1952–1966 годах, с настоящим моментом¹⁴.

Но не только профессиональные литераторы публикуют обширные записи о своей интимной жизни, представленной на фоне советской истории. Замечательный пример – дневник Эльвиры Григорьевны Филипович (род. 1934), которая представляется как «обыкновенная женщина». Первый том был опубликован (за счет автора) в 2000 году в Подольске (в количестве 500 экземпляров) под заглавием «От советской пионерки до челнока-пенсии (мой дневник). Книга 1 (1944–1972)». Этот дневник шаг за шагом документирует жизнь подростка во

¹⁰ Самойлов Д. Из дневника // Литературное обозрение. 1990. № 11. С. 93–103; 1992. № 5–6. С. 5–56; 1992 № 7–9. С. 52–61. *Его же*. Поденные записи (Из дневников 1971–1990) // Знамя. 1992. №2. С. 148–174; 1992. № 3. С. 132–166; Общий дневник [1977–1989] // Искусство кино. 1992. № 5. С. 103–119; *Памятные записки*. М.: Междунар. отношения, 1995; 2-е изд.: М.: Время, 2014. *Он же*. Перебирая наши даты. М.: Вагриус, 2000. *Он же*. Поденные записи. М.: Время, 2002. Имеются и более поздние издания.

¹¹ Зорин Л. Авансцена: Мемуарный роман. М.: Слово, 1997. *Он же*. Зеленые тетради М.: Новое литературное обозрение, 1999.

¹² Кувалдин Ю. Нагибин // Невское время. 13 марта 1996. Эссе перепечатано в издании дневника 1996 года.

¹³ Нагибин Ю. Дневник / Ред. Ю. Кувалдин. М.: Книжный сад, 1995; 2-е изд., доп. и сверенное, 1996. Среди переизданий: М.: АСТ, Олимп, Астрель, 2001; М.: АСТ, Люкс, Neoclassic, 2005; М.: РИПОЛ классик, 2009 и 2010. Цитирую (с указанием страницы в тексте) по изданию 1996 года.

¹⁴ Приведу основные издания этого много раз переиздававшегося текста: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой [1938–1941]. М.: Книга, 1989. *Она же*. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2 [1952–1962] // Нева. 1993. № 4–9. Т. 3 [1963–1966] // Нева. 1996. № 8–10. *Она же*. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1 [1938–1941]. Т. 2 [1952–1962]. Харьков: Folio, 1996. *Она же*. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1 [1938–1941]. Т. 2 [1952–1962]. Т. 3 [1963–1966]. М.: Согласие, 1997. Впервые тома 1 и 2 были опубликованы на Западе (т. 1 в 1976 и 1984 гг.; т. 2 в 1980 г.).

время войны, студентки сельскохозяйственной академии в 1950-е годы, зоотехника-практика в 1960-е (в том числе и на целине) и, в более поздние годы, карьеру специалиста по питанию животных с научной степенью, патентами и публикациями. Это также история дочери, выросшей с матерью-одиночкой, жены, не раз обманутой мужем, матери, жизнь которой обусловлена текущей исторической ситуацией, от детства в условиях войны и эвакуации до работы на целине и жизни за границей (в Чехословакии, откуда ее муж). О политических взглядах автора и ее отношении к советской власти мы знаем немного. Заглавие хроники обещает нам довести историю жизни до постсоветского времени, когда героиня стала «челноком» (то есть торговцем мелкими товарами, перевозимыми из ближней заграницы). Второй том, вышедший в 2003 году, охватывает 1973–1994 годы, включая и печальную карьеру челнока¹⁵. К этому времени Филипович стала автором повести, рассказов и эссе.

Что касается охвата времени, то изданные мемуарно-автобиографические тексты охватывают весь период советской истории, от революции до наших дней. Сталинские и военные годы документированы с особой тщательностью. Имеются, однако, и «истории вчерашнего дня». Одна из них, «Семидесятые как предмет истории культуры», – сборник эссе, в которых профессионалы подвергают историческому и семиотическому анализу материал собственной жизни, и притом недавней¹⁶. Другая, «Вечер в Летнем саду: Эпизоды из истории „второй культуры“» библиографа Дмитрия Северюхина (род. 1954), написана от лица тех, кто был «зачат» уже после Сталина, а именно родившихся между 1954 и 1974 годом¹⁷. Появились и «сюимнутные мемуары», написанные политическими деятелями, что побудило одного критика спросить: «„Мемуары о сегодняшнем дне“ – возможно ли это?»¹⁸

Имеются дневники и мемуары, которые стремятся довести повествование до сегодняшнего дня. «Зеленые тетради» Леонида Зорина, опубликованные в 1999 году, охватывают период вплоть до 1998 года. Дневниковые записи историка литературы и архивиста Мариэтты Омаровны Чудаковой (род. 1937), вышедшие в 2000 году с подзаголовком «На исходе советского времени», доходят до 1996 года¹⁹. А в 2006 году она опубликовала дневник покойного мужа, литературоведа Александра Павловича Чудакова (1938–2005) за последний год его жизни²⁰. В 1999 году Мария Ивановна Арбатова (род. 1957), писательница и журналистка, заметная фигура в феминистском движении, выпустила книгу под названием «Мне 40 лет... Автобиографический роман», в которой ее история, включая подробности трудной брачной

¹⁵ Филипович Э. От советской пионерки до челнока-пензионерки: 1973–1994 (мой дневник). Книга 1 (1944–1972). Подольск: Сатурн, 2000. *Она же*. От советской пионерки до челнока-пензионерки: 1973–1994. М.: Изд. содружества А. Богатых и Э. Ракитской, 2003.

¹⁶ Семидесятые как предмет истории культуры / Ред.-сост. К. Ю. Рогов. М.: Венеция: ОГИ, 1998. Толстовская фраза «история вчерашнего дня» была использована в заглавии эссе Александра Жолковского в этом сборнике, «Из истории вчерашнего дня» (с. 135–152).

¹⁷ Определение из рецензии Юлии Жуковой на «Вечер в Летнем саду»: Новая русская книга. 2000. № 4–5. С. 84.

¹⁸ Островский Е. О несвоевременности мемуаров в России // Русский журнал. 1997. 17 ноября. Островский сетует на то, что жанр мемуаров используется в политической игре действующими политиками, «похитившими название уважаемого жанра», приводя в качестве одного из примеров таких «квазимемуаров»: Коржаков А. Борис Ельцин: От рассвета до заката. М.: Интербук, 1997.

¹⁹ Чудакова М. Людская молвь и конский топ: на исходе советского времени // Новый мир. 2000. № 1, 3, 6.

²⁰ Чудаков А. Дневник последнего года (1 января – 31 августа 2005) // Тыняновский сборник. Вып. 12. Десятые/Одиннадцатые/Двенадцатые Тыняновские чтения. М.: Водолей, 2006. С. 507–568. Широко известен роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени...» (с авторским подзаголовком «Роман-идиллия»), в котором имеются мемуарно-автобиографические элементы. Впервые опубликованный в 2000 году в журнале «Знамя», он был награжден премией «Букер десятилетия» 2011 года как «лучший роман десятилетия» и неоднократно переиздавался.

жизни в советских условиях, доходит до 1997 года²¹. В 2002-м она выпустила автобиографию в двух томах «Прощание с двадцатым веком: Автобиографическая проза», описав еще пять лет своей жизни, включая новый брак и дойдя до самого момента публикации (добавлены более чем 500 страниц)²².

До сих пор речь шла о «мемуарно-автобиографических текстах», а также о «мемуарах и дневниках», не вдаваясь в различия жанра и формы (упоминались и «автобиографические романы»). В научной литературе многократно обсуждалась природа автобиографичности (в частности, по отношению к фикциональности) и проводились границы между различными автобиографическими формами²³. Существуют исследования, посвященные особой жанровой природе и темпоральности дневника²⁴. Однако, сознавая проблематичность такого решения, в этой книге я буду продолжать пользоваться собирательным понятием «мемуарно-автобиографические тексты» (или «произведения»), понимая под этим различные повествования, отслеживающие развитие своего автобиографического «я» во времени, будь то в ретроспективной форме воспоминаний или в хроникальной форме дневника (с немногими исключениями речь идет о текстах, претендующих на документальность, а не художественность или фикциональность).

Мемуарно-автобиографические тексты нашего корпуса разнообразны по жанру и форме. Не вдаваясь в подробное исследование формы, отметим, что многие тексты нестабильны или неустойчивы: они составлены из фрагментов, которые могут быть перекомпонованы в различном порядке и дополнены. В некоторых случаях неустойчива временная перспектива.

Нередко фрагментарность и открытость формы является сознательной установкой со стороны автора или публикатора. Леонид Зорин замечает, что «записи», изданные им в книге «Зеленые тетради», держатся вместе в основном благодаря переплету (травянистого цвета)²⁵. Издатель дневника актрисы Фаины Георгиевны Раневской (1896–1984) собрал книгу из разрозненных записей, назвав ее «Дневник на клочках»²⁶. Журналист и кинематографист Алексей Кириллович Симонов (род. 1939) назвал свою автобиографию «Частная коллекция» (1999), причем его книга включает в себя и повествования, и визуальные тексты (фотографии, письма,

²¹ Арбатова М. Мне 40 лет... Автобиографический роман. М.: Захаров; АСТ, 1999.

²² Арбатова М. Прощание с XX веком: Автобиографическая проза: В 2 т. М.: ЭКСМО, 2002.

²³ В общем понимании автобиографизма я следую за классическим определением «автобиографического пакта» Филипа Лежена. Это условное представление о реальности автора и о тождестве авторской фигуры и фигуры рассказчика, или повествовательного «я», из которого исходят и автор, и читатель (независимо от присутствия в тексте черт литературной организации). *Lejeune P. Le Pacte autobiographique*. Paris: Seuil, 1975. На его сайте можно найти огромную и обновляющуюся библиографию: <http://www.autopacte.org/>. Научная литература об автобиографии слишком обширна для избранных ссылок. Особо укажу на исследование, которое предлагает антропологический подход к автобиографическим нарративам – как источникам для понимания того чувства собственного «я», которое свойственно члену определенного общества или культуры: *Eakin P. J. How Our Lives Become Stories: Making Selves*. Ithaca: Cornell University Press, 1999. Непосредственно о мемуаристике как особом жанре и культурном феномене написано немного. О русской мемуаристике: *Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX века*. М.: Наука, 1991; *Он же. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века*. М.: Археографический центр, 1997; *The Russian Memoir: History and Literature* / Ed. and with an introduction by B. Holmgren. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2003.

²⁴ Укажу на исследования дневника в русскоязычном контексте (содержащие дальнейшую библиографию): *Зализняк А. Дневник: к определению жанра* // Новое литературное обозрение. 2010. № 6; *Мухеев М. Дневник как Эго-текст* (Россия, XIX–XX). М.: Водолей, 2007. Обзор обширной западной литературы о дневниках можно найти в: *Paperno I. What Can Be Done with Diaries?* // *The Russian Review*. October 2004. Vol. 64. P. 561–573.

²⁵ Зорин Л. Зеленые тетради. С. 5.

²⁶ Раневская Ф. Дневник на клочках / Ред. Ю. Данилин. СПб.: Фонд русской поэзии, 1999.

фотокопии справок и свидетельств) – такая структура кажется автору адекватной самой жизни («жизнь, она и есть коллекционирование будущих воспоминаний») ²⁷.

Другой современный автор, филолог и литературовед Михаил Леонович Гаспаров (1935–2005) в книге «Записи и выписки» (2000) расположил разнородные заметки (наблюдения и мысли, как бы выписанные из записных книжек, афоризмы, цитаты, пересказы своих и чужих снов и проч.) в алфавитном порядке (по ключевым словам) ²⁸.

Исследователь литературы и писатель Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) в опубликованной при ее жизни книге под названием «Человек за письменным столом» (1989) организовала тщательно отобранные «записи» (созданный ею жанр) в хронологическом порядке: «Записи 1920–1930 гг.», «Записи 1950–1960 гг.» и «Записи 1970–1980 гг.», а также «Записки блокадного человека». Через десять лет издатель одной из посмертных публикаций Игорь Захаров перекомпоновал записи по собственному усмотрению. В аннотации он представил свое издание как книгу «очень современную» и притом историческое свидетельство: «Советское время еще рядом, оно – это мы сами или наши родители. Как люди тогда жили? Как выживали, „не потеряв образа человеческого“?» (Фраза «не потеряв образа человеческого» принадлежит самой Гинзбург.) При этом издателю кажется, что эта книга разрозненных записей «покруче любого романа» ²⁹.

Случай драматурга Евгения Львовича Шварца (1896–1958) наглядно демонстрирует неустойчивость формы автобиографического документа, опубликованного в 1990-е годы. В 1950–1958 годах он вел дневники, в которых записывал и события дня, и воспоминания о прошлом. Эта хроника появилась в двух разных изданиях, подготовленных к печати разными редакторами-публикаторами. Одно из них – это дневник, в котором события прошлого и настоящего перемешаны, согласно порядку написания ³⁰. Редактор другого издания расположил записи в порядке хронологии описанных событий, то есть дневник перестроен в мемуары ³¹.

Вышла также и «Телефонная книжка» Шварца – очерки о знакомых ему людях, расположенные (самим Шварцем) в алфавитном порядке, в виде телефонной книжки ³². (Нашелся и другой мемуарист, который включил такую «телефонную книжку» в свои мемуары ³³.)

Совмещение в одном повествовании дневника и мемуаров используется и как сознательная стратегия со стороны автора. Нагибин заметил, что его дневник «переходит иногда в мемуары», но не потому, что в дневнике он предавался воспоминаниям о прошлом (как поступал Шварц), а потому, что он иногда писал «не по свежему следу, а по воспоминаниям» ³⁴. Другой мемуарист, историк Борис Григорьевич Тартаковский (1911–2002), предупреждает читателя, что порой его книга «напоминает скорее дневники, чем воспоминания, настоящее и прошедшее тесно переплетаются» ³⁵.

Каковы бы ни были побуждения авторов или редакторов, фрагментарные тексты, которые поддаются переборке или переосмыслению, оказываются неустойчивыми по форме, а настоящее и прошедшее переплетаются.

²⁷ Симонов А. Частная коллекция. Н. Новгород: Деком, 1999. С. 9.

²⁸ Гаспаров М. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

²⁹ Публикация самого автора: Гинзбург Л. Человек за письменным столом. Л.: Сов. писатель, 1989. Публикация Захарова: Гинзбург Л. Записные книжки: Новое собрание. М.: Захаров, 1999. Имеются и другие издания, самое полное: Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002.

³⁰ Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников / Ред. К. Кириленко. М.; Л.: Сов. писатель, 1990.

³¹ Шварц Е. Произведения: В 4 т. / Ред. М. О. Крыжановская и И. Л. Шершнева. М.: Корона Пресс, 1999.

³² Шварц Е. Телефонная книжка / Ред. К. Кириленко. М.: Искусство, 1997.

³³ Ширвиндт А., Поуровский Б. Былое без дум: Попытка диалога. М.: Центрполиграф, 2001. С. 263–316.

³⁴ Нагибин Ю. Дневник. С. 4.

³⁵ Тартаковский Б. Г. Все это было... Воспоминания об исчезнувшем поколении. М.: АИРО–XX, 2005. С. 13.

Многие авторы прямо ставят вопрос о том, какому же читателю адресованы их произведения, но ответ на него часто остается неясным. Юрий Нагибин (опубликовавший при жизни свой интимный дневник) спрашивает: «Кому адресован дневник? – И отвечает: – Себе самому. Это разговор с собой, с глазу на глаз». В этом он находит моральное превосходство над другими: «Повторяю, ведя свои записи, я не думал о читателе, как, скажем, К. Симонов, который явно готовил дневник на вынос»³⁶. Многие мемуаристы обращаются к детям и внукам, а некоторые – к будущим историкам. Алексей Симонов (сын Константина Симонова) спрашивает: «Для себя? Для истории? Для внуков?»³⁷

Другие надеются на своих собственных героев, на людей, описанных в мемуарах, как на читателей. Один рецензент именно так описал ситуацию воспоминаний Северюхина о 1970-х годах. «Большинство действующих лиц – благополучно живы и здравствуют в России и за ее пределами; а число упомянутых в книге явно превышает число ее экземпляров». Казалось бы, книга адресована будущим историкам как «источник». Но рецензент видит смысл в немедленной публикации: «Изданная лет через -дцать эта книжка стала бы интересна лишь узкому кругу исследователей <...> Ныне – встретилась со своими героями, стала фактом их жизни, вступила с ними в диалог»³⁸.

Думаю, что эти тексты создают особый тип чтения: книгу заселяют, «как взятую внаем квартиру», дневник или мемуары другого человека примеряют на себя, мысленно приспособливают к собственной жизни³⁹. Авторы, издатели и читатели иногда прямо заявляют об этом. По словам одного критика, «[м]ы читаем мемуары внимательно и с напряжением, но едва ли это означает, что нас так интересует чужая жизнь. Скорее, собственная»⁴⁰. Нагибин предлагает свой «полудневник-полумемуары» читателям как помощь в их «самопознании»⁴¹. Издатель дневника «обыкновенной женщины» Эльвиры Филипович поясняет читателю: «Книга захватывает, ибо в жизни, во взглядах автора мы узнаем самих себя. Кажется, что и думаем-то, и пишем мы сами»⁴².

В итоге является ли автор профессионалом или любителем, а имплицитный читатель героем книги или потомком, эти неустойчивые по форме тексты, пригодные к переработке, обращают описанную в них жизнь во все периоды советской истории в открытое, заселенное современниками текстовое пространство.

³⁶ Нагибин Ю. Дневник. С. 5, 6.

³⁷ Симонов А. Частная коллекция. С. 47.

³⁸ Из рецензии Жуковой на «Вечер в Летнем саду» Северюхина: Новая русская книга. 2000. № 4–5. С. 84.

³⁹ «Как взятую внаем квартиру» – выражение Мишеля де Серто: *de Certeau M. The Practice of Everyday Life / Trans. S. Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984. P. xxi, 167–174. Оригинал: L' invention du quotidien (1980). Русский перевод: Мишель де Серто. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского Ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.*

⁴⁰ Айзенберг М. Читая мемуары // Знамя. 2000. № 1. С. 215.

⁴¹ Нагибин Ю. Дневник. С. 4.

⁴² Филипович Э. От советской пионерки до челнока-пензионерки. Книга 1. Аннотация.

Экскурс: мемуары и историческое сознание

Историки идей связывают мемуарно-автобиографическое письмо различных жанров и форм с историческим сознанием, овладевшим умами в конце XVIII – начале XIX века⁴³. Думаю, что мемуары конца советской эпохи можно считать поздним продуктом этого интеллектуального течения⁴⁴.

По мнению историков, «стремление личности запечатлеть опыт своего участия в историческом бытии»⁴⁵ возникло в европейской культуре в эпоху Французской революции и наполеоновских войн, причем становление таких представлений связывают с философскими парадигмами, в первую очередь с Гегелем, и с литературными формами, мемуарно-автобиографическими и романскими. В русский обиход обостренный историзм вошел в 1840–1860-е годы, с поколением, выросшим после 1812 года и сформировавшимся под влиянием русского гегельянства, а в советскую эпоху получил подкрепление в опыте революции, двух мировых войн и террора, а также в контексте марксистского образования (которое исходит из гегельянского понимания истории).

От зарождения в наполеоновскую и постнаполеоновскую эпоху до мобилизации в советскую историзм прошел через различные инстанции культурного посредничества. Для советских интеллигентов одним из заметных текстов-посредников этой традиции стали «Былое и думы» Герцена, закрепившие формы исторического сознания в рассказах из повседневной жизни поколения, пережившего 1825 и 1848 годы, – сообщества людей, связанных ощущением исторической, социальной, политической и апокалиптической значимости интимной жизни в кругу семьи и своих. Такое понимание «Былого и дум» было, в свою очередь, опосредовано советскими литературоведами и комментаторами Герцена, пользовавшимися авторитетом среди читателей, такими как Лидия Гинзбург и Лидия Чуковская.

Вспомним знаменитое начало «Былого и дум»: мы видим младенца-автора (внебрачного сына русского аристократа) в пожаре Москвы 1812 года, на руках крестьянской няни. Наполеон только что вошел в город, и вскоре отец героя встретится с императором лицом к лицу. Памятны читателям и другие ключевые места биографии героя: юный Герцен мужает в камере тюрьмы и в ссылке; зрелый Герцен переживает жестокое разочарование – в идеалах, в любви и в дружбе – в ходе революции 1848 года, совпавшей с его семейной драмой (жена изменила ему с лучшим другом и соратником по революции Георгом Гервегом). В предисловии к пятой части Герцен определил жанр своих «записок» посредством метафоры: «„Былое и думы“ не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге».

В своей влиятельной книге «О психологической прозе» (1971 и 1977) Гинзбург использует эту замечательную формулу (которую цитируют едва ли не все исследователи Герцена) как эмблему жанра, построенного на совмещении историографии с автобиографией⁴⁶. Это иссле-

⁴³ Связь между автобиографией и историческим сознанием проведена в классической статье: Weintraub K. Autobiography and Historical Consciousness // Critical Inquiry. June 1975. Об историческом сознании и жанре мемуаров в России имеются исследования, появившиеся именно в 1990-е годы: Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX века. М., 1991; Он же. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997.

⁴⁴ В этом экскурсе использована моя статья, в которой вопрос обсуждается более подробно: Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель // Новое литературное обозрение. 2004. № 68. С. 102–127.

⁴⁵ Формулировка из: Тартаковский А. Г. Мемуаристика как феномен культуры // Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 36. В этом номере журнала «Вопросы литературы» помещен круглый стол, посвященный современной мемуаристике. Редакция попросила авторов, опубликовавших в 1990-е годы мемуары, ответить на вопрос: «Почему вы стали писать мемуары?», а автора исследований о русской мемуаристике и историческом сознании А. Г. Тартаковского (см. выше) – прокомментировать историю жанра.

⁴⁶ Гинзбург Л. О психологической прозе. Л.: Худож. лит., 1977 (1-е изд. – 1971). С. 251.

дование описывает кружковую жизнь русских интеллектуалов в 1830–1840-е годы как жизнь осознанно историческую, оформленную в «человеческих документах» (письмах и дневниках), «промежуточной литературе» (мемуарах) и психологическом романе.

В своих собственных «записях», опубликованных в конце советского времени, говоря об опыте сталинского террора, Гинзбург также пользуется категориями исторического сознания наполеоновской эпохи, проводя параллель с историзмом сталинской эпохи. На ее читателей конца 1980-х годов произвели большое впечатление следующие слова:

Молодой Гегель, увидев Наполеона, говорил, что видел, как в город въехал на белом коне абсолютный дух. Я помню разговоры Бор. Мих. Энгельгардта. Совсем в том же, гегелевском, роде он говорил о всемирно-историческом гении, который в 30-х годах пересек нашу жизнь (он признавал, что это ее не облегчило)⁴⁷.

Добавлю, что Борис Михайлович Энгельгардт был выслан в 1930 году на Беломорканал; жена его бросилась в пролет лестницы. Освобожденный в 1932 году без права проживания в Ленинграде, Энгельгардт жил в городе нелегально; он погиб в блокаду. Для Энгельгардта, как и для Гинзбург, историзм был делом и личного опыта, и профессиональных занятий – он является автором исследования «Об историзме Пушкина»⁴⁸.

Лидии Чуковская (автор «Записок об Анне Ахматовой»), также написала монографию под заглавием «„Былое и думы“ Герцена» (1966). В этой книге, обращенной к широкой публике, Чуковская толкует «Былое и думы» как «историческую хронику» и как «письмо, посланное Герценом в будущее». Подобно Гинзбург, Чуковская воспользовалась дорожной метафорой Герцена для определения жанровой специфики «Былого и дум». Развивая метафору, она описывает эти мемуары как рассказ о «колесах истории, движение которых на своем жизненном пути он <Герцен> всегда ощущал». Чуковская перефразирует и герценовскую формулу из «рассказа о семейной драме»: «...мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колес истории»⁴⁹.

Эта метафора, воплотившая концепцию рокового столкновения человека и истории, нашла широкое применение в документах о сталинской эпохе.

Вспомним ключевые слова (на первых страницах) мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь»: «Время обзавелось теперь быстроходной машиной. <...> Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил...» Первая фраза – автоцитата из очерка 1925 года; вторая – это голос Эренбурга 1960-х годов. Есть основания считать этот образ прямым эхом Герцена. Так, на тех же страницах Эренбург пишет: «Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи...»⁵⁰ Читая записи Герцена (и других), он пишет о себе и своем поколении. (Напомним, что мемуары Эренбурга, впервые опубликованные в 1960-е годы, сыграли значительную роль в формировании исторического сознания постсталинской эпохи.)

Бросается в глаза, что мемуаристы-интеллигенты советской эпохи упоминают Герцена и «Былое и думы» (а также используют ключевые метафоры книги) в качестве сигнала своей авторской позиции.

⁴⁷ Гинзбург Л. Человек за письменным столом. С. 301. Эпизод с Гегелем и Наполеоном использовался многочисленными авторами и в XIX, и в XX веке как эмблема исторического сознания. Параллель между Сталиным и Наполеоном также хорошо разработана (в частности, и в гегельянском контексте – Александром Кожевным). Об этой параллели см.: Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание. С. 117–120.

⁴⁸ Биографическая информация из: Энгельгардт Б. М. Избранные труды. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 8.

⁴⁹ Чуковская Л. К. «Былое и думы» Герцена. М.: Худож. лит., 1966. С. 23. См. также С. 19, 28, 181.

⁵⁰ Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Воспоминания: В 3 т. / Ред. И. И. Эренбург и Б. Я. Фрезинского. М.: Сов. писатель, 1990. Т. 1. С. 46, 48.

На «Былое и думы» сознательно ориентировался Давид Самойлов, о чем в предисловии к публикации «Памятных записок» упомянула его вдова. По ее словам, «впервые на устремленность автора в этом направлении обратила внимание Л. К. Чуковская». Между тем Давид Самойлов именно так описал «Записки об Анне Ахматовой» самой Чуковской: «Жанр – „Былое и думы“»⁵¹.

Думаю, что Герцен снабдил советских читателей не столько жанровым образцом (сам Герцен любил называть свои мемуары неопределенным словом «записки»), сколько авторской позицией, а также лицензией на авторство.

Со всей прямотой об этом сказал в 1999 году кинорежиссер Василий Васильевич Катанян (1924–1999): «Воодушевленный словами Герцена, что мемуары может писать всякий, потому что *никто* не обязан их читать, я собрал воедино куски воспоминаний, написанных в разное время...»⁵² Думаю, что дело не столько в предоставлении читателю свободы читать или не читать, сколько в том, что можно писать, – человек, воодушевленный Герценом, знал, что автобиографические записки, фрагментарные воспоминания, отрывки – это полноправные исторические и литературные документы.

По словам поэта Павла Антокольского, стоит ему «хотя бы случайно, ненароком раскрыть Герцена», как его охватывает «волнение», «ощущение величия судьбы», «стиля – жизненного и литературного». «...Все это могло быть написано и сегодня...» – записал он в дневнике в 1968 году, читая ночью во время бессонницы рассуждения Герцена об истории. Он прямо говорит об «обостренном историческом сознании» Герцена. (Дневник Антокольского был опубликован в 2002 году⁵³.)

Каждый может писать (и печатать) дневники и записки именно потому, что выступает как носитель исторического сознания, по образцу Герцена – автора «Былого и дум», а значит, и как субъект истории.

Диссидент Людмила Михайловна Алексеева (1927–2018) в книге, впервые опубликованной в 1990 году в эмиграции (по-английски), описала себя как девочку, воспитанную людьми первого революционного поколения, которые считали себя «любимцами истории». Когда в 1937 году ее семья переехала из провинции в столицу, отец вручил ей экземпляр «Былого и дум» в качестве путеводителя по улицам Москвы⁵⁴. Для этой советской семьи «Былое и думы» – пропуск в Москву, в историю и одновременно удостоверение представителя передового исторического класса.

Создав мемуары (или хотя бы записки), те, кто отождествлял себя и своих с миром «Былого и дум», прочно вписали себя в анналы «любимцев истории» – русской интеллигенции.

Есть и контрпример, который подтверждает такое толкование: актер Александр Анатольевич Ширвиндт (род. 1934) назвал свои мемуары «Былое без дум» (2001); в них он дает пространственный ответ на вопрос «Почему я не интеллигент»⁵⁵.

Развернутая картина жизни в истории, ориентированная на круг Герцена и на «Былое и думы», представлена в мемуарах писательницы Лидии Борисовны Либединской (1921–2006) «Зеленая лампа». Автор описывает, как в 1948 году они с мужем, писателем Юрием Либединским, по вечерам на даче читали вслух «Былое и думы», разделяя «высокий накал страстей», которым проникнута эта «великая» книга. Отправившись в Москву, они совершили паломничество в комнату, в которой Герцен родился в роковом 1812 году (в «доме Герцена» находится

⁵¹ Медведева (Самойлова) Г. Предисловие // Самойлов Д. Памятные записки. М.: Вагриус, 2000. С. 9.

⁵² Катанян В. Распечатанная бутылка. Н. Новгород: Деком, 1999. С. 7 (курсив в оригинале). Катанян цитирует предисловие Герцена к четвертой части (1855).

⁵³ Антокольский П. Дневник, 1964–1968. СПб.: Пушкинский фонд, 2002. С. 88.

⁵⁴ Alexeyeva L., Goldberg P. The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-Stalin Era. Boston: Little, Brown and Company, 1990. P. 10, 13. Русскоязычное издание: Алексеева Л. М. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006.

⁵⁵ Ширвиндт А., Поюровский Б. Былое без дум. С. 194, 317.

Литературный институт). Герцен вдохновлял их и в трудной семейной ситуации. В 1962 году на даче в Переделкине Либединская говорила с Корнеем Ивановичем Чуковским о «сложных и трудных» отношениях в семье и кругу Герцена – так, «как говорят об очень дорогих людях, которым надо помочь...» Отождествление с кругом Герцена укрепляло Либединскую в самосознании «интеллигента в переломные моменты истории». Прямой потомок Льва Толстого, она предпочла сродство не семейное, а избранное, закрепленное в авторстве. Либединская не только писала о Герцене (в частности, в книге «Герцен в Москве», в которой она совершает прогулки по Москве по следам Герцена), но и выпустила адаптированное издание «Былого и дум» (в 1960-е годы) – своего рода «мои „Былое и думы“»⁵⁶.

Вместе с именем Герцена мемуаристы импортировали в свои тексты элементы исторического сознания, кодифицированного в «Былом и дум», а именно русский гегельянский историзм – в том толковании, которое эта традиция получила в интеллигентском быту советской эпохи, в частности, под пером историков литературы.

Некоторые мемуаристы прямо ссылаются на Лидию Гинзбург как посредника в их восприятии гегельянского катастрофического историзма герценовского извода. Так, в 1989 году историк искусства Леонид Михайлович Баткин (1932–2016) развернул образ встречи советского интеллигента с духом мировой истории, воплощенным в фигурах Наполеона и Сталина, в эмоциональном эссе «Сон разума. О социально-культурных масштабах личности Сталина», выделявшемся в тогдашней мучительно-личной сталиниане⁵⁷.

Ученый-лингвист Ревекка Марковна Фрумкина (род. 1931) в мемуарах 1997 года «О нас – наискосок» прибегает (по крайней мере, четыре раза) к словам Гинзбург, чтобы описать опыт своего круга (она, как и другие, использует категорию «мы»): «...лучше всех об этом написала Л. Я. Гинзбург». Фрумкина впервые упоминает имя Гинзбург, рассказывая о том, как школьницей в 1940-е годы научилась осмысливать жизнь сквозь произведения русской классики, которые внимательно читала вместе с комментариями; она называет два имени: Белинский и Герцен («Былое и думы»). На следующей странице Фрумкина рассказывает, что в классе проходила педагогическую практику студентка-историк Светлана Сталина, которая убеждала ее поступать на исторический факультет⁵⁸.

В своих мемуарах Светлана Иосифовна Аллилуева (1926–2011) писала о днях смерти Сталина (которые она якобы «провела в доме отца, глядя, как он умирает») как о «конце эпохи». Хотя автор и оговаривается, что «мое дело не эпоха, а человек», мемуары дочери Сталина заканчиваются обращением к истории в гегельянско-марксистском ключе. Аллилуева пишет о тех, «кто добивался <...> чтобы быстрее, быстрее, быстрее крутилось колесо Времени и Прогресса» (это о терроре), и надеется на «суд истории»⁵⁹. Образ колеса времени и прогресса стал знаменит благодаря «Коммунистическому манифесту» Маркса. Суд истории – тоже гегелевская метафора; и к ней прибегают многие советские мемуаристы. Как и другие мемуаристы советской эпохи, Светлана Аллилуева связана профессией с историей и литературой: историк по образованию, она написала диссертацию об историческом романе.

Повторю мой центральный тезис: в XX веке, как и в XIX, гегельянский историзм, кодифицированный в автобиографическом письме, выступает как инструмент для интерпрета-

⁵⁶ Либединская Л. Зеленая лампа и многое другое. М.: Радуга, 2000. С. 286–287, 348–349, 291. Первая публикация: 1969 г., издание 2000 г. исправлено и дополнено. Список тех, кто ссылается на «Былое и думы» можно продолжить (среди них: Анциферов Н. П. Из дум о былом. М.: Феникс, 1992).

⁵⁷ Баткин Л. Сон разума. О социокультурных масштабах личности Сталина // Осмыслить культ Сталина. М.: Прогресс, 1989. Ранее в том же году эссе было напечатано в журнале «Знание – сила».

⁵⁸ Фрумкина Р. М. О нас – наискосок. М.: Русские словари, 1997. С. 79, 53; см. также отсылки к Лидии Гинзбург на с. 113, 117, 189.

⁵⁹ Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М.: Захаров, 2000. Впервые опубликованная в 1963 году в Нью-Йорке, в недавние годы эта книга вышла в России в нескольких изданиях. (По некоторым сведениям, Светлана Аллилуева не присутствовала при смерти отца.)

ции личного опыта отдельного человека и для конструирования группового интеллигентского сознания. От своего зарождения в постнаполеоновскую эпоху до мобилизации в сталинскую и постсталинскую историзм прошел через различные инстанции культурного посредничества, от «Былого и дум» Герцена в XIX веке до научных исследований советского времени, посвященных «Былому и думам». Автобиографические документы о советском опыте, рассмотренные в этой книге, пронизаны таким историческим самосознанием – о чем сигнализируют и жанровые признаки, и повествовательные ходы, и метафоры – такие, как колесо истории, прошедшее по человеческой жизни.

Мемуаристы вписывают себя в историю

Во многих воспоминаниях пересечение личной жизни и катастрофической советской истории отмечается своего рода вехами, обычно в начале текста. Именно этот повествовательный ход утверждает право мемуариста на авторство.

Возьмем актеров (которым, казалось бы, незачем доказывать свое право писать мемуары). На первых страницах воспоминаний Татьяны Кирилловны Окуневской (1914–2002) читатель видит актрису не на театральной сцене, а в лагере, стоящую в свете прожектора в шеренге заключенных⁶⁰. Михаил Михайлович Козаков (1934–2011) открывает свои воспоминания так: «Начну с самого что ни на есть общеизвестного. В 1956 году произошло знаменательное событие, на какое-то время определившее многие жизненные процессы, – XX съезд партии, на котором в открытую заговорили о культе личности Сталина. <...> Что касается меня лично, пятьдесят шестой год – год начала моей судьбы. Весной я заканчивал школу-студию МХАТ, в это же время появилась на экранах моя первая картина»⁶¹.

Воспоминания другой популярной киноактрисы, Лидии Николаевны Смирновой (1915–2007), озаглавленные «Моя любовь», почти не касаются событий советской истории. Более того, она ничего не пишет о своих отношениях с советской властью. В предисловии писатель-диссидент Владимир Войнович (друг автора) добавляет: «Годы сталинского террора Смирнова пережила сравнительно благополучно, была советским режимом обласкана и сама от служения ему не уклонялась. <...> И кто бы мог подумать, что за всем этим стоит трудная доля девочки-сироты, дочери погибшего колчаковского офицера, о чем, конечно, приходилось умалчивать и что делало ее, как ни странно, существом полуподпольным»⁶². Так это предисловие вписывает и жизнь актрисы, любимой Сталиным, в историю террора, обращая при этом «Мою любовь» в исторический нарратив (а знаменитую героиню – в подпольщика).

А что же делать тем, кто вырос уже в послесталинские годы? И они чувствуют необходимость укоренить себя в историческом контексте, определяемом войной и террором. Переводчик Виктор Леонидович Топоров (род. 1946), культивирующий образ пьяницы и скандалиста, начинает мемуары («Двойное дно. Признания скандалиста», 1999) со своей генеалогии:

Моя мать, Зоя Николаевна Топорова, умерла во сне ночью с 16 на 17 июня 1997 года после тяжелой ссоры со мной накануне. Через несколько дней – 22 июня – ей исполнилось бы 88 лет <...> родители сошлись в войну – в блокаду – и никогда не жили вместе: у отца была другая семья <...>. [Мать] записала в метрику фиктивное отчество Леонидович. <...> Леонидом звали <...> единственного человека, которого она любила по-настоящему, – питерского писателя Леонида Радищева, попавшего в лагерь перед войной и вернувшегося только в 1956 году, – и таким образом мать как бы вовлекла его в процесс моего рождения. <...> Радищев был, разумеется, литературный псевдоним, настоящая фамилия его была Лившиц⁶³.

⁶⁰ Окуневская Т. Татьянин день. М.: Вагриус, 2005. С. 7.

⁶¹ Козаков М. Актерская книга. М.: Вагриус, 1996. С. 7.

⁶² Смирнова Л. Моя Любовь. М.: Вагриус, 1997. С. 6.

⁶³ Топоров В. Двойное дно: Признания скандалиста. М.: Захаров; АСТ, 1999. С. 6. Мать автора, Зоя Николаевна Топорова, была адвокатом Иосифа Бродского во время суда на нем в 1964 году. В печати имеются критические реакции на «саморазоблачения» Топорова: см., например, рецензию Станислава Шуляка «Пасквиль как элемент смеховой культуры» http://zhurnal.lib.ru/s/shuljak_stanislaw_iwanowich/paskvil.shtml (впервые опубликована в «Литературной газете» осенью 1999 года).

Как и в случае Лидии Смирновой (где эту задачу взял на себя другой), многослойные воспоминания Топорова обнажают скрытое; в этом случае – скандальную историю его рождения. Таким образом мемуарист (как это сделал в «Былом и думах» и Герцен, тоже незаконно-рожденный) укореняет себя в истории, а не в семье (очень кстати пришлось, что день рождения его матери падает на 22 июня).

«Обыкновенная женщина» Эльвира Филипович начала свой дневник в возрасте десяти лет. Первая запись в опубликованном дневнике сделана 5 сентября 1944 года. Поезд с беженцами, в котором она едет с матерью и бабушкой, медленно движется вдоль развалин Сталинграда. Мать героини в слезах: в суматохе она потеряла чемодан, в который были уложены дневники всей ее жизни⁶⁴.

Киноактер брежневской эры Родион Рафаилович Нахапетов (род. 1944) начинает свои мемуары с выписок из имеющихся у него школьных тетрадок с воспоминаниями его матери Галины Прокопенко. Прокопенко описывает историю рождения сына: почти всю беременность эта молодая (незамужняя) сельская женщина провела в партизанах, в разведке. Таким образом Нахапетов (который писал свои воспоминания в Лос-Анджелесе в 1990-е годы) прочно укрепил себя в советской истории⁶⁵. (Его мать, да и сам Нахапетов, относится к числу тех, кто претензий к советской власти не предъявляет.)

История его рождения находит параллель в истории жизни другой деревенской женщины этого поколения, Евгении Киселевой. Киселева также не имеет претензий к советской власти. В отличие от Прокопенко, которая была учительницей, Киселева осталась малограмотной, и история ее жизни написана соответствующим языком, но и для нее ключевой момент жизни – исторический. Это рождение сына Анатолия 22 июня 1941 года («в день войны»). Киселева начинает со своей семейной ситуации: «Жили мы с мужем очень хорошо, но когда началась война в 1941 году она нас розлучила навсегда. и начались мои страдания». За этим следует страшная история бегства от наступающих немцев с голодным новорожденным, «гниющим» в мокрых пеленках. Киселева явным образом связывает авторство со страданием («если бы я когда улибнулась мне бы нечиво былоб писать я так думаю»), страдание – с разлукой с мужем, а разлуку – с войной⁶⁶. Едва ли Киселева знала о младенце-Герцене, но ее читатель (тот, для кого тетрадки с ее неразборчивыми записями были расшифрованы и опубликованы) сумеет спроецировать эту историю на знаменитое начало «Былого и дум». Острое чувство исторической значимости своих страданий соединяет эту необразованную женщину с ее образованными современниками: и она испытывает непреодолимое желание (усиленное ее редакторами и издателями) – предать интимные подробности своей страшной жизни гласности как историческое свидетельство.

Создавая образ своего «я» как прочно вписанного в историю – «я», выношенный в чреве матери-партизанки; «я», рожденный, или родившая, в день войны; «я», родившийся вне брака во время блокады и названный матерью в честь любовника, пропавшего в лагерях, – автор мемуаров заявляет о своем праве на биографию, праве на авторство. Такой мемуарист представляет свое «я» как продукт катастрофического исторического опыта.

При всем разнообразии многие дневники и мемуары, опубликованные в конце советской эпохи, согласны в оценке жизненного опыта автора, прошедшего под знаком острого недостатка, смертельной опасности и страдания. Согласие это проявляется именно в историческом обосновании своего страдания, которое мы видим в документах и интеллектуалов, и простых людей, и тех, кто настроен антисоветски, и тех, кто не предъявляет претензий к советской власти.

⁶⁴ Филипович Э. От советской пионерки... Книга 1. С. 3–4.

⁶⁵ Нахапетов Р. Влюбленный. М.: Вагриус, 1999.

⁶⁶ Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. «Я так хочу назвать кино». С. 210, 89, 142.

Мемуаристы передают гласности интимные подробности своей жизни

В автобиографических текстах, опубликованных в конце века, самораскрытие является неотъемлемой частью историзации собственной жизни и личности автора. В задачу мемуариста входит открыть для читающей публики то, что скрывается за фасадом общественного деятеля или за анонимностью рядового человека, передать гласности то, что происходило за тонкими стенами коммунальных квартир или внутри себя, в глубине души, в потаенных мыслях, во снах.

При этом авторами движет убеждение, что интимное – это историческое и что такая информация – это свидетельство о том, как далеко зашла деформация личности в катастрофах советской истории.

В своем дневнике жизни Анны Ахматовой Лидия Чуковская осознанно обнажает ненормальные формы интимной жизни, созданные советским строем. Самая близость между Чуковской и Ахматовой – это продукт террора: они связаны общим горем и общими хлопотами об исчезнувших членах семьи (муже Чуковской и сыне Ахматовой). Дневник описывает их встречи в необыкновенном доме Ахматовой: это коммунальная квартира, в которой проживает также ее бывший муж Николай Николаевич Пунин, его первая жена и дочь от этого брака. Их отношения сложились в 1920-е годы (не без влияния авангардных представлений о любви и браке), а к 1930-м годам квартирный вопрос (нехватка жилья и необходимость прописки) превратили их в своеобразную семейную ячейку, запертую в пределах одной квартиры. В той же квартире живет пролетарская семья бывшей прислуги Пуниных, Смирновы; их маленькие дети пользуются любовью и заботой Ахматовой, несмотря на то что она полагает, что их мать (которая выполняла для нее домашнюю работу) работает также на органы госбезопасности, поставляя информацию о жизни Ахматовой.

Дневники затем описывают, как во время войны, эвакуированные в Ташкент, Ахматова и Чуковская ютятся в общежитиях, населенных собратьями-писателями. В этой ситуации их бесприютность и безытность стали частью общенационального опыта. После смерти Сталина они встречались в крошечных комнатах или углах перенаселенных квартир московских друзей, где Ахматова жила месяцами, с имуществом, ограниченным сумкой и чемоданом (в отдельном чемодане при ней находился ее архив). Где бы они ни находились, они разговаривали шепотом, полагая, что их подслушивают органы госбезопасности. (Для конспирации Чуковская кодировала записи некоторых из их разговоров.) Эти привычки, как показывает дневник Чуковской, сохранились и после смерти Сталина. В конечном счете дневник – этот протокол частной, дружеской слежки, выполненный для истории, – свидетельствует о том, как в течение многих лет Ахматова жила, ела, пила, спала, одевалась, как она выглядела, как она болела, что она говорила своему другу и confidentу Чуковской и что та слышала из ее разговоров с другими.

Читатели этого замечательного дневника в письмах к автору свидетельствуют об эффекте соприсутствия: «видишь, слышишь <...> и эту квартиру <...> Пунина <...> и Смирновых за стеной»; «читатель не читает Ваши книги, а живет в них, он где-то незримо, совсем рядом присутствует, он *видит* всё»⁶⁷. Книгу заселяют как взятую внаем квартиру: в перенаселенную коммуналку Ахматовой вселились и читатели, желающие видеть и слышать «всё».

⁶⁷ Подборка писем читателей к Лидии Чуковской, написанных между 1967 и 1994 годами, опубликована в: Знамя. 1995. № 8. Здесь цитируется (в этом порядке) письмо Натальи Ильиной в сентябре 1969 года (письмо № 13) и письмо Н. Урицкой от 30 августа 1989 года (письмо № 41). Ильина – профессиональная писательница и личный друг Чуковской и Ахматовой, она читала «Записки об Анне Ахматовой» еще в рукописи; второй читатель, Урицкая, – библиотекарь в городе Ухта, читала в 1989 году опубликованную версию.

Ученые, которые опубликовали историю жизни простой женщины Евгении Киселевой, также воспринимают свою публикацию как документальное свидетельство о специфически советской жизни частного человека и также считают такую жизнь «ненормальной»; по их словам, это свидетельство о распаде социальных связей, о существовании «в пространстве войны всех против всех»⁶⁸. Мы видим нищету деревенской жизни, голод 1932 года, военную разруху, пьянство, воровство, побои в семье, многоженство. Мы видим, как после войны Киселева нашла своего пропавшего без вести мужа: оказалось, что он женился на другой (в легальных терминах: двоеженец или троеженец). Две жены одного мужа и ребенок провели нелегкую ночь в одной комнате коммунальной квартиры (вернее, барака)⁶⁹. Для тех, кто опубликовал этот рассказ, – это документ, имеющий и этнографическое, и историческое значение: «просто жизнь, которая вписана в советский период истории»⁷⁰.

Дневник Юрия Нагибина рассчитан на шокирующий эффект у читателя, который знает об официальном облике этого видного советского писателя и кинематографиста. (Известен он был и благодаря сценариям популярных фильмов о трудной жизни советской деревни, «Председатель» и «Бабе царство», – именно такие фильмы вдохновили Евгению Киселеву написать историю своей жизни и послать ее на киностудию.) В своем дневнике Нагибин открывает читателю доступ за кулисы – он не только описывает свои схватки с властью, но и показывает себя пьяным скандалистом, буянящим в ресторане ЦДЛ, неверным мужем сменявших друг друга жен. (Издатель этого документа поместил во втором издании хронологический список шести жен Нагибина.) Допущенный в интимную жизнь автора, читатель приобщен и к запахам его перенаселенных (но отдельных, а не коммунальных) квартир – мочи, кала, рвоты и менструальной крови. Ужасный запах – это мотив всего дневника и часть метафоры советской системы – среды разложения, в которой автору приходилось жить и работать⁷¹.

Прежде чем отдать в печать свой дневник, Нагибин опубликовал один за другим несколько романов, если не прямо автобиографических, то наделенных намеренно двусмысленными сигналами автобиографичности⁷². В центре всех романов этого цикла – раскрытие семейных тайн главного героя, начиная с тайны его рождения и происхождения, а также его любовных связей и его близости как к репрессированным, так и к власти имущим⁷³. Герой романа «Тьма в конце туннеля» узнает после смерти Сталина, что человек, которого он считал отцом, таковым не является. Влюбленный в мать героя, он дал свое имя незаконному сыну друга, расстрелянного большевиками в 1920 году. Однако к моменту этого открытия герой носит лишь отчество своего приемного отца, Маркович (то же отчество носит и автор). Еврейскую фамилию он, чтобы не затруднять себе путь к литературной карьере, давно отбросил, взяв псевдоним, выбранный матерью (якобы наугад), – на самом деле русскую фамилию своего настоящего отца. Приемный отец, выбранный матерью для этой роли и благодаря своему еврейству (в революционные годы еврейство казалось ей почти что синонимом большевизма), в послевоенные годы в ходе антикосмополитической кампании оказался ненадежным защитником: он был арестован. Когда юный герой женится на дочери сталинского министра, он считает необходимым скрывать неудобного «отца» от семьи жены (в частности, и для того чтобы

⁶⁸ Козлова Н. Н., Сандомирская И. И. «Я так хочу назвать кино». С. 87.

⁶⁹ Там же. С. 99–100.

⁷⁰ Там же. С. 7.

⁷¹ Нагибин Ю. Дневник. С. 35, 37, 73, 81, 160, 541.

⁷² Имя героя книги не Нагибин, а Калугин, однако некоторые из второстепенных персонажей (друзей «Калугина») носят имена реальных людей, знакомых читателю и из «Дневника» Нагибина. Так, в романе «Тьма в конце туннеля» обсуждается дружба героя Калугина со Святославом Рихтером и Верой Прохоровой. А во втором издании «Дневника» имеется фотография Нагибина с Рихтером и Прохоровой (Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. С. 95; *Он же*. Дневник. Фронтиспис).

⁷³ Нагибин Ю. Тьма в конце туннеля. Моя золотая теща. М.: ПИК, 1994; *Он же*. Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волонтаризма и застоя. М.: ПИК, 1995.

защитить от дальнейших преследований). Навещая его в ссылке втайне от жены и ее семьи, он предпочитает быть заподозренным в супружеской измене. Читателю Нагибина нелегко понять эти запутанные социальные и эмоциональные осложнения; нележки они и для самого героя. Так, когда герой наконец узнает тайну своего рождения и понимает, что не является евреем, это сбивает его с толку. Дело в том, что он привык объяснять для себя болезненное чувство отчуждения именно за счет своего еврейства. Кроме того, в атмосфере оттепели после сталинской антисемитской кампании еврейство отождествлялось с либеральной позицией «интеллигенции», и от этого тоже нелегко отказаться⁷⁴. Так кто же он? Роман предлагает анализ двусмысленного положения и трудного состояния героя и его матери – сдвиг между именем и этническим происхождением, семейной лояльностью и надеждами на социальный успех, расчетом на безопасность и непредсказуемыми осложнениями. Все это имеет непосредственное влияние на эротический выбор героя – его непреодолимое влечение к двойственности и обману, склонность к адюльтеру. Нет сомнения, что именно форма романа (с вековым опытом жанра в изображении как загадочного происхождения героя, так и адюльтера) имеет шансы адекватно представить этот клубок, казалось бы, неправдоподобных обстоятельств и противоречивых эмоций. Ирония ситуации состоит в том, что роман Нагибина включает в себе значительный элемент автобиографичности: многие (если не все) сюжетные ходы прямо отражают положение самого автора, Юрия Марковича Нагибина⁷⁵.

Дневник Нагибина вызвал резкие отклики читателей. Так, Виктор Топоров (сам мемуарист-скандалист и тоже незаконный сын и носитель фиктивного имени и неполного еврейства) отказался принять саморазоблачения автора как портрет «подлинного» Нагибина: с его точки зрения, обнажение далекой от респектабельности интимной жизни не очищает Нагибина от репутации успешного советского автора. А если герой дневника не является «подлинным Нагибиным», то (вопросает Топоров) «стоило ли превращать дневник в „Дневник“, отдавая его в печать?»⁷⁶

Другой отклик поступил от члена противоположного идеологического лагеря, а именно правых националистов постсоветского времени, Станислава Куняева. Как и Топоров, Куняев заявил о своем отвращении от цинически откровенных самообнажений в «мемуарах» Нагибина. (Он считает мемуарами и дневник, и романы.) Более того, его оскорбило двойственное отношение Нагибина к своему национальному происхождению – его отказ признать свою рускость и заигрывание с еврейством⁷⁷.

В своем дневнике «обыкновенная женщина» Эльвира Григорьевна Филипович также раскрывает семейные тайны и также описывает далекую от нормы жизнь своей семьи как продукт исторических обстоятельств. Дневник рассказывает о том, как в 1957 году, в возрасте двадцати трех лет, она впервые увидела своего отца Григория Смирнова (по профессии он был геологом). Рожденная вне брака в 1934 году (Филипович – фамилия ее матери), она нашла отца только после смерти Сталина. Контакт отца с матерью оборвался во время войны. В 1966 году Филипович, второй раз встретившись с отцом, узнает обо всех своих братьях и сестрах (их шестеро, от пяти разных матерей). Ее мать и сама выросла без отца: он был «жертвой репрессий»⁷⁸.

⁷⁴ Дилеммы и парадоксы еврейской идентичности проанализированы в: *Slezkin Y. The Jewish Century*. Princeton: Princeton University Press, 2004; русский перевод: *Слезкин Ю. Эра Меркурия. Евреи в современном мире*. М.: Новое литературное обозрение, 2007 (об изменениях, произошедших от 1920-х к 1940-м годам, см. главу 4).

⁷⁵ Издатель дневника Нагибина Юрий Кувалдин принимает историю героя романа за историю самого автора. Более того, он полагает, что Нагибин заимствовал материал для романа непосредственно из дневника. См.: *Кувалдин Ю. Юрий Нагибин*. Впервые опубликовано в газете «Невское время» за 13 марта 1996 и затем как послесловие к изданию «Дневника» (с. 672).

⁷⁶ *Топоров В. Гибель Нагибина // Постскриптум: Литературный журнал*. 1996. № 5; цит. по: www.vavilon.ru/metatext/ps5/toporov.html.

⁷⁷ *Куняев С. Из литературного дневника смутного времени // Завтра*. 1994. № 27. С. 32.

⁷⁸ *Филипович Э. От советской пионерки... Книга 1*. С. 86, 91, 260–262.

В книге «Записи и выписки» выдающийся филолог-классик Михаил Гаспаров, отличавшийся до крушения советской власти крайней сдержанностью в своих публичных выступлениях, поместил записи и эссе, посвященные главным образом не жизненному опыту, а тщательно сформулированным мыслям и эстетическим суждениям. Один рецензент назвал метод Гаспарова «обнажением мысли». Противопоставляя этот подход тому, что мы читаем у иных писателей: «драки в ЦДЛ, пьяный разгул, альков» (по-видимому, намек на Нагибина), – рецензент замечает, что «филолог обнажается иначе»: Гаспаров признается, что при переводе стихотворения опустил строку, «и читатель краснеет так, как будто читает описание постельной сцены»⁷⁹. Тем не менее и филолог обнажается. Добавим, что и филолог раскрыл тайну своего рождения: и он был рожден вне брака, но носил имя легального мужа матери; и он жил под именем, которое предполагало иную национальность, нежели на самом деле.

Другой выдающийся исследователь литературы, Лидия Гинзбург, не допустила-таки ни семейные тайны, ни просто биографические факты на страницы своих тщательно отделанных афористичных «записей» и мемуарных эссе, призванных фиксировать протекание человеческого опыта, но идея связи между интимностью и историей пронизывает всю ее документальную прозу (изданную в нескольких разных собраниях). Метод Гинзбург – исторический анализ бытовых и психологических ситуаций (таких как любовь эпохи военного коммунизма или летний отдых эпохи террора)⁸⁰.

Искусствовед Михаил Юрьевич Герман (1933–2018), сын писателя Юрия Германа, рано оставленный отцом, не только раскрыл многие подробности своей трудной частной жизни в мемуарах «Сложное прошедшее (Passé composé)», но и обобщил в исторических терминах проблемы интимности в советских условиях. Вспоминая о своем студенческом опыте 1950-х годов, он сделал следующий вывод:

Коммунальные квартиры, бездомность и бесприютность придавали течению серьезных и несерьезных романов нечистую поспешность. Отсюда немало настоящих трагедий, не говоря уже о все том же страхе. <...> [И]нтимная жизнь была тогда более всего «политическим фактом»⁸¹.

Поясняя понятие «политического факта», Герман пишет о скудности информации о сексуальности, отсутствии половой (и иной) гигиены и абортах, а также о публичных осуждениях внебрачных связей в среде студентов со стороны комсомольских организаций и администрации высших учебных заведений. (С высоты своей исторической позиции Михаил Герман писал с симпатией о «многими отвергнутом, но больном и мудром „Дневнике“ Нагибина»⁸².)

Человек другого поколения и склада, Мария Ивановна Арбатова (род. 1957), с начала 1990-х годов активный деятель феминистского движения, с намеренной нескромностью пишет в мемуарном романе об изнасиловании, браке, разводе и о трудном процессе воспитания детей в советском обществе. Она описывает свой метод как «эдакий стриптиз» и мотивирует его своим местом в советской истории:

Я пишу этот текст с шокирующей некоторой искренностью и подробностью, потому что отношусь к первому поколению, родившемуся без Сталина. И это поколение пока сделало довольно мало попыток рассказать о себе честным языком. Надеюсь, что книга не столько обо мне, сколько

⁷⁹ Немировский И. «Записи и выписки». Михаил Гаспаров (рецензия) // Новая русская книга. 2000. № 6. С. 9–10.

⁸⁰ Об особом жанре «записи», созданном Гинзбург, и особом понимании авторского «я» писала Эмили Ван Баскирк. Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. Реальность в поисках литературы / Пер. с англ. С. Силаковой. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

⁸¹ Герман М. Сложное прошедшее (Passé composé). СПб.: Искусство–СПб., 2000. С. 203.

⁸² Герман М. Сложное прошедшее. С. 526.

о времени; эдакий стриптиз на фоне второй половины двадцатого века, который, слава богу, уже кончился⁸³.

Стриптиз на фоне конца века – это не столько о себе, «сколько о времени».

Замечательное определение этой ситуации дала Мариэтта Чудакова. Публикуя в 2000 году свой дневник, она заметила в постскриптуме:

С концом советской эпохи и прошедшего в России под ее знаком столетия то, что писалось для себя, потеряло интимность, стало документом⁸⁴.

⁸³ Арбатова М. Прощание с XX веком. Т. 2. С. 9.

⁸⁴ Чудакова М. Людская молвь... С. 147.

Обобщения: интимность и история

Сделаем некоторые обобщения. Советские мемуаристы рассказывают о своей интимной жизни как о факте истории. Нет сомнения, что так поступали и их предшественники в XIX веке (вспомним Герцена и его «Рассказ о семейной драме»)⁸⁵. Более того, самообнажение, конечно, практикуется и в мемуарах современных западных авторов. И тем не менее можно говорить об особом историческом смысле этих откровений: это именно самораскрытие на фоне конца советской эпохи.

В личных документах постсоветского периода советская история предстает как сила, деформировавшая структуру семьи и дома, а следовательно (как мы знаем из психоанализа и романов), и самоощущение человека – его «я». В ряде дневников и воспоминаний «я» выступает как продукт террора или войны, или террора *и* войны, но такое самоощущение сохраняется и после конца сталинской эпохи. Советский строй предстает как создающий особые условия жизни, в которых происходит деформация интимного пространства, и не только в тюремных камерах и фронтовых окопах, но и в коммунальных квартирах, и деформация тела – не только пыткой или голодом, но и советскими гигиеническими практиками.

Заметим, что едва ли не в каждом тексте мемуаров и дневников можно найти яркие описания быта коммуналки, несущие более или менее осознанный эмблематический смысл. В самом деле, роковой квартирный вопрос и коммунальная квартира – инструмент социального контроля посредством насильственной совместности и вынужденной интимности – давно уже стали центральной метафорой советского общества. (Многочисленные дневники и мемуары, романы и кинофильмы, художественные инсталляции и научные исследования кодифицировали символический смысл и социальный статус этого культурного института⁸⁶.)

Советское государство предстает в частных документах своих граждан как создатель особого режима интимной жизни, основанного на двойственности и амбивалентности, которые стимулировались такими факторами, как необходимость делить жилое пространство с чужими людьми или скрывать (даже от членов семьи) свое происхождение и этническую принадлежность. Государство предстает как сила, деформировавшая традиционные структуры интимной жизни, а с ними и самое «я».

В этой перспективе самораскрытие приобретает особое – историческое и политическое – значение, а советские дневники и мемуары выступают под знаком «интимность и история».

⁸⁵ Об этом см.: Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1850–1990-е годы) // Новое литературное обозрение. 2011. № 112.

⁸⁶ Коммунальная квартира как социальный институт и ее символические смыслы описаны во многих исследованиях. См., например: *Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia*. Cambridge: Harvard University Press, 1994. Русский перевод: *Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни*. М.: Новое литературное обозрение, 2002; *Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира* // Социологический журнал. 1998. № 1–2. С. 224–244; *Утехин И. Очерки коммунального быта*. М.: ОГИ, 2004. См. также виртуальный музей коммунального быта в сети: *Communal Living in Russia: A Virtual Museum of Soviet Everyday Life*. <http://kommunalka/colgate.edu>. Заметим, что хотя большинство мемуаристов пишут о жизни в коммуналке с ужасом, имеются и такие, которые представляют коммунальную жизнь в позитивном свете, например: Арбат, 30, Квартира 58 // Источник. 1993. С. 5–6. (Эти воспоминания писателя и журналиста Олега Любченко опубликованы в разделе «Народные мемуары» журнала «Источник», официального органа Архива Президента Российской Федерации (Приложение к журналу «Родина»)).

Мемуары создают сообщество

Мемуары конца советской эпохи служат не только построению своего «я», но и созданию сообщества: семьи, дружеского круга, соратников по интеллигенции, современников. Как это делается?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.